



## Л. А. ТИХОМИРОВ

### Тени прошлого. К. Н. Леонтьев

Мое знакомство с Константином Николаевичем Леонтьевым относится к двум последним годам его жизни, 1890 и 1891. Сам я в это время был уже человеком вполне сложившимся, выработавшим все основы своего мирозерцания [так что он не оказал вообще никакого влияния на мои взгляды]. Мы встретились как люди, умственно равноправные, и то, что оказалось у нас сходным и родственным, — было каждым выработано самостоятельно и различными путями. Благодаря меня за присылку [ему моей] брошюры «Социальные миражи современности», Леонтьев сам писал мне из Оптиной пустыни: «Приятно видеть, как другой человек и *другим путем* (подчеркнуто Леонтьевым) приходит почти к тому же, о чем мы сами давно думали» (7 авг<уста> 1891 г.). Но мы приходили именно только к «почти» тому же. Разница все же была и осталась. [Некоторые мои взгляды, основанные на наблюдении социально-политической жизни Европы, являлись для него новыми и неожиданными. С другой стороны, для меня были новы его взгляды на византийский элемент в России, так как я в то время был довольно поверхностно знаком с византизмом. Все это вместе взятое, и сходство и различие, — и взаимное уважение самостоятельности мысли — быстро сблизило нас, и у обоих рождало даже проекты совместной работы.]

Ко времени личного знакомства мы уже знали друг друга заочно. Греческие его повести я читал [уже] давно. В 1889 же году Грингмут (Владимир Андреевич) обратил мое внимание на «Восток, Россию и славянство» как в высшей степени замечательное произведение. Он прибавил, что почти во всем согласен с Леонтьевым. Но Катков (Михаил Никифорович) об этой же книге отозвался, что «*Леонтьев дописался до чертиков*». Грингмут же был и называл себя безусловным учеником Каткова. Думаю поэтому, что он не «почти во всем», а только кое в чем согла-

шался со взглядами Леонтьева. Как бы то ни было, конечно, и я не мог не признать «Восток, Россию и славянство» одним из замечательнейших произведений русского ума.

Со своей стороны, Леонтьев отнесся с большим вниманием к нашумевшим тогда брошюрам моим, [вполне] обрисовывавшим мое мировоззрение. Таким образом, когда Грингмут познакомил нас в 1890 году лично, — мы встретились как будто давно знакомые.

Эта встреча произошла в Москве. Леонтьев жил тогда еще в Оптиной Пустыни, где я никогда не бывал, но наезжал в Москву, помнится, три раза по разным делам. В то время на Страстном бульваре, близ Тверской, против самого монастыря была гостиница «Виктория», не роскошная, но пользовавшаяся репутацией очень приличной. В ней останавливались многие известные лица, как Ольга Алексеевна Новикова, Владимир Карлович Саблер и т. п. Тут же останавливался и Леонтьев.

В первый приезд он занимал большую комнату с отделением во втором этаже. Во второй приезд я его застал уже в первом этаже: ему было трудно подыматься на второй. Вообще, все время нашего знакомства его здоровье постоянно ухудшалось, он становился все более хилым, несмотря на то что ему не было и 60 лет\*. Между прочими недомоганиями он серьезно страдал болезнью почек и [даже] приезжал в Москву отчасти для врачебного совета и производства анализов. «Многие раны грешнику», — повторял он.

После Оптиной Пустыни он приезжал еще раз в Москву из Сергиевского Посада и останавливался в гостинице «Париж» на Тверской. За все эти пребывания в Москве я бывал у него постоянно. Ездил к нему и в Сергиев Посад, где он жил в Новой Лаврской гостинице. В общей сложности за краткое время нашего знакомства я видел его очень часто, сидя подолгу, беседуя большей частью наедине, серьезно и сердечно. Мы сошлись очень быстро, сообщая друг другу и интимные подробности жизни, и свои духовные запросы, делясь мыслями о будущем. [Разница лет не составляла помехи дружескому сближению, потому что я по пережитому, выстраданному и продуманному был много старше своих лет, тогдашних 38 и 39 лет.]

Быть может, вследствие этих частых личных бесед у нас не было большой переписки, из которой у меня сохранилось всего 6–7 писем. Два или три письма я отдал не то о. Иосифу Фуделю,

---

\* Он родился в 1831 году, умер в 1891 году, 60-ти лет от роду (*Примеч. Л. Тихомирова*).

не то А. А. Александрову, когда у них затевалась какая-то публикация воспоминаний о Леонтьеве. Может быть, эти письма даже напечатаны, но, конечно, без моего имени, так как я просил, безусловно, не упоминать обо мне.

Когда я познакомился с Леонтьевым, он уже был физически не по летам хил, не мог много ходить, даже и в церкви обзаводился стулом, чтобы сидеть при богослужении. Тряска и шум железной дороги его чрезвычайно утомляли, и он в первое же свидание произнес целую обвинительную речь против этого способа передвижения. В современной жизни, говорил он, все соединяется для того, чтобы выводить человека из душевного равновесия, раздвигать ему нервы, не давать возможности ни глубоко наблюдать жизнь, ни спокойно обдумывать ее явления. Прежде, бывало, проедешь на лошадях несколько сот верст — так наберешься множества знаний и мыслей, видишь страну, ее природу, ее жизнь и обитателей, их обстановку. По железной дороге мчишься как угорелый, ничего не видя, кроме вагонов и вокзалов, одинаковых повсюду. Шум, гвалт, тряска, свистки — приводят голову в одурманенное состояние. В вагоне даже и с соседями трудно разговаривать: каждую минуту остановки, пассажиры входят и уходят, собирают и раскладывают вещи, суетятся, тормозят друг друга. И так — пролетаешь сотни верст, ничего не видя, с оглушенной головой, раздраженными нервами и притупленной мыслью.

Физическая слабость Константина Николаевича несколько, однако, не отражалась на его душевном состоянии. В этом отношении он казался моложе своих лет. Его мысль всегда оставалась ясной и светлой, ощущения свежими и тонкими. Он всем интересовался, способен был увлекаться. Лицо его бросалось в глаза: худощавое, с тонкими чертами, оно было выразительно и подвижно. Голос оставался свеж и звучен, речь — остроумна, полна счастливо найденных выражений. Все у него было изяшно, дышало аристократичностью, культурно выработанной породой. Рода его я, впрочем, не знаю. Фамилия матери его была Карабанова, и от Карабановых у него оставалось в Калужской губернии имение, в котором он некоторое время проживал. Совершенно не знаю обстановки его воспитания, но у него проявлялась какая-то прирожденная властность, стародворянская тонкость вкуса, а также и стародворянская распущенность. Вообще, он производил впечатление утонченно развитого русского барина. С этим связано и его какое-то физиологическое отвращение от всякого «хамства».

Хуже «хамства» для него не было ничего на свете. А что такое «хамство»? Неразвитость умственная, неразвитость вкуса, неразвитость личности, отсутствие собственного достоинства и неуважение к чужому достоинству, отсутствие великодушия и истинного мужества, вообще ряд черт, противоположных понятию «рыцарства» и «благородства».

В первое время моего знакомства с Леонтьевым на обычном фоне его пессимистического настроения часто проскальзывали полоски светлого оптимизма. Не очень-то веря этому, он все-таки поддавался иллюзорной надежде на национальное возрождение России. Такой самообман был в ту эпоху вполне естественен. Те, кто не переживал лично времени Александра III, — не могут себе и представить резкой разницы его с эпохой Александра II. Это были как будто две различные страны. В эпоху Александра II весь прогресс, все благо, в представлении русского общества, неразрывно соединялись с разрушением исторических основ страны. При Александре III вспыхнуло национальное чувство, которое указывало прогресс и благо в укреплении и развитии этих исторических основ. Остатки прежнего, антинационального, европейского, каким оно себя считало, были еще очень могущественны, но, казалось, шаг за шагом отступали перед новым, национальным. Эта «реакция» национального против европейско-революционного была так сильна, что даже пессимистический Леонтьев преувеличивал ее значение, и мы по этому предмету спорили с ним. Я говорил, что антинационально-революционное движение у нас непременно скоро возобновится. Леонтьев же полагал, что национальная «реакция» продолжится еще много времени и [следовательно, разовьет] успеет развить большие силы для противодействия антинациональному. «Сколько времени, по Вашему мнению, может длиться эта реакция?» — спрашивал он. Я отвечал: «Лет пять-шесть»... Он только плечами вздернул. «Что Вы! Уж, по крайней мере, лет 25». Мой глазомер оказался вернее, и вспышка прежнего антинационально-революционного настроения произошла у нас немедленно с началом нового царствования Николая II. Леонтьеву, однако, этого уже не довелось увидеть, и он последние годы жизни провел в надежде, что в России в широком национальном масштабе может повториться тот же процесс возрождения, который он пережил в самом себе.

Ему казалось, что он замечает это и по своей личной судьбе. До тех пор не признаваемый, отрицаемый и более всего игнорируемый родной страной, он теперь почувствовал как будто некоторое признание. О нем там-сям заговорили, стали искать зна-

комства с ним. В сущности, таких людей было очень немного, но на Константина Николаевича, по сравнению с прежним, и это производило впечатление. В Москве у него тогда бывали Грингмут, Говоруха-Отрок, цензор Залетов, некто Чуффрин, студент Погожев (Евгений Николаевич, писавший под псевдонимом Евгений Поселянин), студент Духовн<ой> академии Попов (Иван Васильевич, впоследствии профессор); бывали, конечно, Александров (Анатолий Александрович) и тогдашний редактор «Русск<ого> обозрения» кн. Цертелев (Дмитрий Николаевич). Бывал, конечно, я. Священник Фудель в это время находился в провинции. Думаю, что я перечислил чуть ли не всех его посетителей. Число небольшое. Все они, конечно, уважали его и ценили, и Константин Николаевич имел вид патриарха этого маленького круга националистов. Это его утешало и окрыляло надеждами; он начинал думать, что в России есть еще над чем работать, и планы работ начинали роиться в его голове. Вообще, ему дано было провести конец жизни в относительно светлом настроении. Он мог думать, что он не изгой в своей родине, а первая ласточка той весны, которая изукрасит [своими] свежими цветами Россию, совсем было посеревшую в пыли своего [национального самоотречения] псевдоевропеизма.

Аналогия между своими личными переживаниями и возможной эволюцией России легко могла представляться уму Леонтьева, потому что в пережитом им переломе было не появление чего-либо безусловно нового, а возрождение старого. Он был глубоко русский тип как до своего перелома, так и в самом переломе и после него. Он в самом себе нес ту двойственность, которая раздирает современную русскую душу, совмещающую две [совершенно] противоположные основы жизни и эволюции. Их борьба и составила психологическую драму, пережитую Леонтьевым.

Душа его всегда хранила в подсознательной области старорусский тип строителей Земли Русской. Воспитание сделало из него «интеллигента» новой России, отрицателя органических основ своей страны и потому глубокого «нигилиста». Нигилизм косматый, неумытый, в нечищенных сапогах — претил брезгливости тонко развитого, эстетического дворянства. Но сущность нигилизма порождалась самой же дворянской культурой, по мере того как высший образованный класс отрешался от [русских] исторических основ, делаясь нечувствительным к их «категорическим императивам». Это совершалось под знаменем европейской культуры, но из чужой культуры можно брать в лучшем случае только *плоды* ее, а не те корни [, на которых развивается растение, создающее эти плоды], которые порождают эти пло-

ды. Отрешаясь от своих корней и не имея возможности прирасти к чужим, — мы [обречены] обрекались на господство отрицания над положительным творчеством. Такова и была участь исторической работы нашей интеллигенции.

Ее очень характеристическую черту составляет уничтожение веры в Бога, вследствие чего личность человека остается без всяких сдержек. Она может дерзать на все, чего захочет, на овладение чем хватает ее силы. Это — основа нигилизма, как вульгарного, так и утонченного, ницшеанского, который дает разрешение на такое дерзание не каждому первому встречному, а натуре высшей [«сверхчеловеку», становящемуся своего рода Богом для человеческой мелкой сошки], «сверхчеловеческой». У Леонтьева, с его дворянским презрением к мелкой сошке, с его утонченной мыслью и эстетизмом, и были черты ницшеанские. Когда у него не было Бога, он мог дерзать на все. Конечно, он не делал ничего, относящегося к категории презируемого им «хамства», но там, где его соблазняло эстетическое сластенство, у него были поступки прямо безобразные, вроде истории с Феничкой, о которой он многим рассказывал.

Леонтьев по специальности был врачом, кончил курс в Москве и состоял сначала врачом на службе. В одном глухом угле хозяин, где он проживал, опасно заболел, и Леонтьев очень внимательно ухаживал за ним. Хорошенькая Феничка, жена больного, очень любившая мужа, не знала, как и угодить доброму доктору. Но, на беду, у него зашевелилась эстетическая чувственность, и он стал соблазнять Феничку. «Эх, Феничка, вы мне все предлагаете разные угощения, а мне нужно только одно», т. е. ее саму. Он ей так прямо и сказал, и она отдалась ему. Леонтьев не подумал даже о том, что сначала это могло случиться просто из страха рассердить доктора и оставить мужа беспомощным. Потом она, однако, привязалась к соблазнителю, да, вероятно, ей стыдно было и глядеть в глаза мужу, начавшему поправляться. Леонтьеву уже нужно было уезжать, и Феничка умоляла взять ее с собой. Но Константин Николаевич начисто отказался и прямо сказал, что он вовсе не намеревался себя навсегда связывать. Не знаю, что случилось с бедной Феничкой, и узнал ли муж о поступке доктора, которого он горячо благодарил за заботливость. Но я, конечно, не мог не высказать Леонтьеву, что он нарушил тут элементарнейшие требования порядочности. Он с этим ничуть не согласился.

«Ведь я тогда не верил в Бога, — возразил он. — Конечно, если Бог запрещает, то я должен слушаться. Но если Бога нет, почему же мне стесняться? Ведь это мне было очень приятно.

Почему я должен был лишать себя удовольствия? Да ведь и Феничке было приятно, а муж ничего не знал».

Таким образом, по его рассуждению, только Бог может устанавливать нравственный закон. Бога нельзя не послушаться и по страху перед Ним, и по нравственному перед Ним преклонению. Если же Бога нет, — можно делать что угодно. Нравственный «категорический императив» вытекает только из божественной сферы. Страшен только *грех*, а если нет Бога, то и грех не страшен. И [нет и греха. И этих] грехов он совершал очень достаточно. Я не допытывался о них, и даже неприятно было слышать его признания, в которых он доходил до циничности, замечая иногда: «Бывало и похуже». Но он сам говорил об этом, как будто испытывая потребность исповеди и самообличения.

В таком состоянии неверия и усыпления нравственного «императива» находился он, когда в 1863 году перешел на службу Министерства иностранных дел и начал исполнять должность консула в различных местах Турции. Здесь он оставался до 1873 года, и это десятилетие было эпохой его полного внутреннего перелома. Этот психологический процесс произошел далеко не случайно именно в Турции. Напротив, нигде Леонтьев не мог найти более благоприятных условий для пробуждения в своей душе старорусского человека, выработанного византизмом, но уже дремавшего под оболочкой новорусского европеизма. Только здесь он мог ощутить еще живые веяния того органически ему родного, которое в России было всюду густо заштукатурено и покрашено при перестройке жизни на европейский лад. В Адрианополе, где Леонтьев служил, в Константинополе, где он часто бывал, в Салониках, в Албании — он попал в атмосферу фанариотов, хранителей точек зрения древней Византии. Он увидел повсюду, даже на Кандии, — жизнь, в которой православие свято оберегалось как палладиум национального самосохранения. Он познакомился с церковной иерархией, всецело проникнутою тем же византизмом. Даже в турецкой мусульманской среде весь быт строился на религиозной дисциплине. Религиозно-социальная жизнь, так сильно потускневшая в России, здесь охватывала Леонтьева во всей своей свежести и поэтической красоте. Для эстетика эта красота имела огромное значение. Она приковывала чувство его к тому, на чем мысль без посредства чувства не остановилась бы так легко.

Леонтьев жил до тех пор без веры в Бога и на всей свободе побуждений своей автономной личности, не признающей над собою никакого владыки. Эта автономность, конечно, давала ему легкий доступ к *наслаждению*, но я полагаю, что она не давала

ему *счастья*. Он делал все, что хотел, но ощущал свою жизнь пустой, без глубокого содержания, не связанной ничем, но зато и не связанной ни с чем великим в мире. Беспочвенная автономность вытекала у Константина Николаевича не из существа его души, а из интеллигентного воспитания, из внешней коры, которая облекала существо души. Существо же это — наследие органической национальной жизни — было, наоборот, проникнуто потребностью живого единения с тем, что составляет величайшую, основную силу бытия, и такого же единения с какой-либо великой социальной коллективностью. Пусть такое единение связывает свободу, но только оно одно дает полноту жизни, а потому и счастье. Здесь, в атмосфере византийских преданий, Леонтьев почуял *родной* голос, открывающий ему эту психологическую истину, родной п<отому>, ч<то> это был тот самый голос, который говорил о благочестивых строителях старой Русской Земли. От них была рождена душа Леонтьева и здесь, на почве древней Византии, ощутила свое истинное содержание, признала себя. Не сразу это, конечно, совершилось. Но внутренний человек, пробуждаясь в Леонтьеве, начал пробиваться сквозь внешнюю кору, в которую был закутан воспитанием, рвал нити, связывающие его с наносным европеизмом, срастался снова с древними корнями, от которых был оторван. Этот процесс завершился наконец «переломом», возрождением в Леонтьеве его основного, органического типа, и презрительным отбросом маски европеизированного типа. Константин Николаевич, конечно, и сам не мог бы сказать, с какого времени в нем стал пробуждаться внутренний человек, но ясно, что это не могло произойти сразу и что у него был более или менее долгий период, в течение которого назревала повелительная потребность *прийти к Богу*.

Внешне заметным, даже драматическим образом этот перелом проявился в 1870 году (а может быть, и в 1869). Леонтьев по делам службы, а отчасти просто для удовольствия, приехал куда-то в довольно далекую от Константинополя дачную местность, прелестную в смысле природы, очень глухую в смысле культурном. Время было летнее, жаркое. Там и сям появлялась сильная холера. Расположившись в своей временной квартире, Константин Николаевич должен был принять как консул каких-то наших торговцев, жаловавшихся на взятки или притеснения турецких властей. Обязанность защищать торговцев вообще была для него неприятна. «Я, — говорил он, — по правде сказать, терпеть не могу этих купчишек. Сами мошенник на мошеннике, а туда же: не смей с него турок взять взятки». Но приходилось, конечно, исполнять долг службы. Побеседовал он



с ними и отпустил. Торговцы же, по случаю приезда консула, поднесли ему, в виде приветствия, икону. Леонтьев даже не взглянул, какая икона, но в стене был гвоздь, и он приказал ее тут повесить. Затем он отправился гулять, заходил в ресторан, возвратился домой усталый и разгоряченный от жары, разделся и с удовольствием улегся спать у открытого окошка, обвеваемый прохладным ветерком. Так он заснул. Проснулся он уже прямо от холода и тут же почувствовал конвульсии в животе. Начались понос и рвота, все признаки холеры. Что делать? В местечке не было ни врача, ни аптеки. Леонтьев приказал слуге отправить призывные телеграммы в Константинополь. Но это было почти бесполезно. Нетрудно было рассчитать, что он может умереть несколько раз, прежде чем кто-нибудь успеет прибыть на помощь. Его охватил страх, между тем припадки все усиливались. Он лежал, изнемогая, на диване, и взгляд его случайно упал на икону, повешенную на стене против него. Оказалось, что это была Божия Матерь. Он невольно стал всматриваться. Она глядела на него грустно и строго. Ему между тем становилось все хуже. Смерть наводила на него ужас. Не хотелось умирать, страстно хотелось жить. Пристальный взгляд Божией Матери начал раздражать его. Ему казалось, что Она пророчит ему смерть, и он в припадке ярости крикнул иконе, потрясая кулаком: «Рано, матушка, рано! Ошиблась. Я бы мог еще много сделать в жизни». Припадки гнева и холеры чередовались у него, и наконец его охватило чувство беспомощной покорности. Он начал *молиться* Божией Матери, умоляя Ее спасти его и обещая, что, если Она сохранит его в живых, — он примет монашество\*.

И тут произошло нечто, показавшееся ему чудом. Он вдруг вспомнил — точно кто-то шепнул ему, — что у него есть опиум. По случаю распространения холеры он обычно брал его с собой при поездках. Как он мог забыть это? Он бросился к чемодану и действительно нашел драгоценный пузырек. Леонтьев как врач хорошо знал дозировку и проглотил максимальную порцию опиума, неопасную для жизни. Лекарство быстро подействовало, он впал в забытие, крепко заснул и спал чуть не целые сутки. Проснулся он — здоровый, холерические припадки исчезли. Прибывший со всей поспешностью врач оказался уже не нужен.

---

\* Этот эпизод неодинаково передается в воспоминаниях о Леонтьеве. Я рассказываю так, как слышал от него самого и помню совершенно отчетливо. В кавычках ставлю фразу, которую вспоминаю буквально (*Примеч. Л. Тихомирова*).

Так совершилось первое проявление перелома в душе Леонтьева. Но состояние его чувства и сознания оставалось смутно и хаотично. В Бога он все-таки не верил, а Божию Матерь признавал как живое существо, полное благодати. Он чувствовал к Ней глубокую благодарность, а в то же время и страх. Нарушить данное Ей обещание он считал совершенно невозможным, но и исполнение его, при более хладнокровном размышлении, оказывалось чем-то фантастическим. Нужно было оставить службу, разрушить все планы жизни — и все это при отсутствии веры в Бога. Об этих сложностях не с кем было даже посоветоваться, не возбуждая толков, что он просто сходит с ума.

Среди таких недоумений он решил поехать на Афон, где в Русском Пантелеймоновском монастыре тогда славился отец Иероним как «старец» великой духовной мудрости. Нетрудно было придумать для поездки служебный предлог, и Леонтьев отправился на монашеский полуостров, «удел Божией Матери», во всем консульском величии. В то время консул на Ближнем Востоке представлял совсем не ту скромную величину, как в государствах Западной Европы. Это было лицо очень важное, с большими полномочиями и влиянием. Для произведения должного впечатления на восточные умы он окружался и пышным церемониалом. И теперь Константин Николаевич ехал к месту смиренного покаяния на превосходном коне, с эскортом вооруженных кавасов в живописных костюмах. По дороге его встречали колокольным звоном, а Русский монастырь принял представителя России еще более торжественно. Настоятель со всей братией вышел к Святым воротам, приветствовал именитого посетителя соответственным словом, потом пригласил в церковь, потом следовало угощение. Наконец нужно было и отдохнуть, но Леонтьев заявил, что ему необходимо переговорить с о. Иеронимом, и желание его было немедленно исполнено.

И вот именитый посетитель, которого о. Иероним только что встречал с таким почетом, оставшись с ним наедине, бросается ему в ноги и умоляет немедленно постричь его в монашество. При этом он сознается, что в Бога не верит. Нервный и взволнованный вид Леонтьева еще более поразил о. Иеронима. Он старался его успокоить, начал объяснять, что невозможно так сразу постригаться, необходимо сначала устроить свои дела в миру, чтобы быть свободным, необходимо подготовиться, пройти послушание и т. д. Да и как же, не веря в Бога, идти в монахи? Много пришлось о. Иерониму за несколько свиданий толковать с мудреным посетителем о Боге, вере и неверии, о монашестве и т. д. Хотя отсрочки крайне огорчали Константина Николаевича,

ча, но эти беседы осветили предстоящий ему путь жизни, и поездка на Афон оказалась плодотворною.

Препятствий для пострига оказывалось и долго оставалось очень много. Не знаю, когда женился Константин Николаевич, но, во всяком случае, уже это одно составляло большое препятствие, тем более что брак этот явился тяжким крестом в жизни Леонтьева. Он был страстно влюблен в жену свою, которую описывал как редкую красавицу, но затем ее постигла неизлечимая душевная болезнь. Она тяжелым бременем лежала на его руках, на его попечении, покинуть ее было невозможно. Но и помимо больной жены трудно было махнуть рукой на свои литературно-публицистические работы, которые теперь, более чем когда-либо, являлись в его глазах служением людям и Церкви. Наконец, нужно было иметь средства к существованию. Среди всех этих усложнений исполнение обета пострижения постепенно затянулось у Леонтьева почти на 20 лет и совершилось только в последний год его жизни.

Но подготовка к этому и работа над собой началась у него немедленно. Он вышел в отставку и прожил на Афоне целый год под руководством о. Иеронима. Это было в 1871/72 году. О. Иеронима он любил и чтил как никого и ставил выше отца Амвросия Оптинского, под руководством которого находился позднее. У меня сохранилось письмо Леонтьева, в котором он их сравнивает. Говоря о том, что для духовной жизни необходимы *катехизатор* (учитель теории), и *старец* (руководитель самой жизни в ее частностях), он поясняет:

«Для меня отец Иероним Афонский был и катехизатор, и старец (в 1871/72 году), но в Оптиной (с 74 до 78 года) дело сложилось иначе. Мне нужно еще тогда было кое-чему доучиваться, но *после Иеронима* отец Амвросий ничуть не удовлетворял меня. Слова его, всегда очень краткие, спешные, *элементарные*, на меня мало действовали. У него, вследствие жизни среди мира, а не в Афонском удалении, и паства была несравненно многолюднее, чем у Иеронима \*. Кроме того — он уже и в 1874 году был гораздо слабее Иеронима и, наконец, у него, *видимо*, не было тех философских и богословских наклонностей, которые были в высшей степени сильны у Иеронима... Иероним сам находил удовольствие по целым часам спорить и рассуждать со мной о вере, монашестве, загробной жизни, о дьяволе и т. п. Он и о своей молодости и прошлой жизни охотно рассказывал мне...

---

\* Почему он мог уделять Леонтьеву гораздо меньше времени (*Примеч. Л. Тихомирова*).

[От. Амвросий ничего не рассуждал, все торопился, все просил говорить короче и уходить скорее...] К тому же я невольно видел разницу в размерах дарований — не *духовных*, эти могли быть *равны*, а природных. У Иеронима были *оба* ума, и теоретический, и практический; он и рассуждал замечательно, и делал дело превосходно. И *учил* общему, и *руководил частностями*. В от. Амвросий я нашел только практический ум, только руководителя. К тому же, почти неожиданно обращенный незадолго до того Иероним <ом> к самому существенному — к “страху греха”, которого до 72 года у меня уже с юности не было, — *влюбленный* даже в него \*, как женщина, всюду преследуемый его величественной, весьма суровой и обожаемой тенью, я беспрестанно и невольно сравнивал их, и (увы!) к невыгоде моего нового пастыря. Не к *нравственной* невыгоде! О нет! Они оба нравственно были очень высоки, оба жизнью святы... скорее уж к эстетической, что ли, невыгоде. От. Иероним *никогда* не смеялся, улыбался по два-три раза в год, *никогда не шутил*. От. Амвросий всегда был весел, часто шутил, любил разные поговорки и рифмы в народном вкусе, и мне вначале это ужасно не нравилось. От. Иероним спообен был сказать о чувстве изящного так: “Да! Что делать! У кого это чувство сильно, тот от него не отделяется. Надо стараться дать ему только безгрешное направление”. От. Амвросий *ничего* такого мне не говорил. От. Иероним (самоучка из старооскольских купцов 20—30-х годов) читал с удовольствием Хомякова и *Герцена* и рассуждал со мною о них. От. Амвросий давно уже почти ничего не читал... И если бы не Климент, то не знаю, к чему бы привели меня поездки в Оптину» \*\*.

Эти объяснения Леонтьева достаточно показывают, какое значение в его развитии имело пребывание на Афоне и руководство о. Иеронима. Недаром его воспоминания об Афоне дышат таким светлым чувством. Впрочем, то же светлое чувство охватывало для него и всю жизнь Ближнего Востока, на котором он ощутил свою старорусскую, византийско-русскую душу, аскетически религиозную, социально дисциплинированную, проникнутую иерархичностью, а в бытовом отношении полную самобытной красотой. Параллельно с этим у него все более развивалось отрицание и отвращение в отношении современного европейского

\* То есть в Иеронима (*Примеч. Л. Тихомирова*).

\*\* О. Климент (Зедергольм) сделался *катехизатором* Леонтьева, а о. Амвросий — *старцем*. На Афоне то и другое соединялось в Иерониме (*Примеч. Л. Тихомирова*).

прогресса, демократического, элитарного и материалистического, в своей средней однородности подавляющего самостоятельность и высоту личности.

[По выходе в отставку и] после пребывания на Афоне Леонтьев возвратился в Россию и, живя в своей калужской деревне, посещал недалекую Оптину Пустынь в полумонашеском положении ученика о. Климента Зедергольма и о. Амвросия. [Он в это время и писал.] Так прошло 4 года. Он достиг уже больших успехов в личной выработке. Он дошел до счастья веры в Бога. Но литература не могла ему давать достаточно средств, а срок прежней службы не давал права на пенсию. Леонтьев решил снова поступить на службу и несколько лет пробыл членом Московского цензурного комитета, пока не вышел (в 1887 г.) вторично в отставку. [На этот раз друзья могли ему уже выхлопотать пенсию, и он поселился в Оптиной Пустыни, где за смертью Климента поступил окончательно под руководство о. Амвросия.] Разумеется, все жгучие интересы жизни Леонтьева не имели уже ничего общего со службой; и в Московском цензурном комитете сохранилось только воспоминание о разных причудливых его выходах. Так, например, в повести какого-то либерального беллетриста, отданной на рассмотрение Леонтьева, одно из действующих лиц в разговоре с другим выражало сентенциозное замечание: «И генералы берут взятки». Леонтьев подумал и вместо «генералы» поставил «либералы»: «И либералы берут взятки»... Автор в ужасе прибегает к нему и начинает горячее объяснение. «Что же такого нецензурного находит он в этой фразе, и разве не случается, чтобы генералы брали взятки?» — Леонтьев отвечает: «А разве не случается, что и либералы брали взятки?» — «Но ведь у меня речь идет вовсе не о либералах, а о генералах». — «А я, — отвечает цензор, — не могу разрешить таких нареканий на столь высокие чины». Автор, и совершенно справедливо, начинает ему доказывать, что фраза в такой переделке делается совершенно бессмысленной, потому что никакого либерала в повести нет. Леонтьев стоит на своем. Сторговались наконец на том, что совсем выбросили злополучную фразу: не осталось ни генерала, ни либерала.

Другой раз Леонтьев чрезвычайно задержал разрешение одной совершенно невинной народной повести. Автор несколько раз бегал в Комитет и наконец пошел к Леонтьеву на квартиру, прося поскорее надписать разрешение, так как повесть совершенно безупречна и прочесть ее можно очень быстро. Леонтьев сначала отделялся разными, явно слабыми отговорками. Но автор указывал, что ведь и он и издатель терпят от такой медли-

тельности серьезный ущерб. Издатель теряет время публикации, автор не получает гонорара. Леонтьев, прижатый к стене, наконец раскрыл свой секрет:

— Да что ж мне делать, когда *он* все не удосуживается прочесть Вашей повести!

— Кто такой «он»? — спросил удивленный автор.

— Да мой Федька...

Что же оказалось? Леонтьев *сам* не рассматривал книжек для народа, а отдавал своему лакею Федору. Как будто просто почитать для развлечения. Когда Федор приносил ее обратно, он его расспрашивал:

— Ну что ж, понравилась книжка?

— Хорошая книжка, занятная.

— А может быть, там есть что-нибудь против Бога, против святыни?

— Как можно-с! Ничего такого нет...

— Ну, это хорошо. А то иной раз Бог знает что пишут... Вот тоже против царя пишут...

— Ни-ни. Ничего против государя нет. Книжка очень занимательная.

Тогда Леонтьев, без дальнейших размышлений, надписывал: «Печать разрешается». На этот раз Федька почему-то заленился прочесть повестушку.

Эту историю рассказывал мне в Петербурге сослуживец по Главному управлению Садовский, бывший при Леонтьеве в Московском цензурном комитете. Леонтьев тогда объяснял в Комитете причину такого своеобразного рассмотрения народных книг. Авторы, говорил он, обыкновенно либеральничают и стараются провести какую-нибудь «тенденцию», а в то же время желают и спрятать ее от внимания цензуры. Но если Леонтьев сам начнет читать, то хитрости автора тотчас обнаружатся для него и он принужден будет запретить книжку. Между тем авторы так усердно затушевывают свою тенденцию, что народ может совсем не заметить ее. Тогда, значит, книжка безвредна и ее можно печатать. Поэтому он и дает ее прочитать Федьке. Если он ничего не заметит, то, следовательно, и прочие подобные ему читатели никаких вредных влияний не воспримут.

Когда Леонтьев окончательно оставил службу, его влиятельные друзья, кажется главным образом Третий Иванович Филиппов, уже могли выхлопотать ему пенсию, и он поселился в Оптиной Пустыни. Жил он в полумонашеском положении, на собственной квартире, под духовным руководством отца Амвросия, к которому успел «приучиться». Не знаю, почему о. Амвро-

сий все оттягивал постриг, который совершился, да и то *тайный*, лишь в 1891 году, перед отъездом в Сергиево. Причины *тайного* пострига понятны. Монах лишается пенсии, а Леонтьеву нужно было и самому жить да еще и содержать и других лиц. Но почему тайный постриг не совершился раньше — это уже дело духовнических соображений отца Амвросия.

Что касается Третья Филиппова — они с Леонтьевым были близкие друзья, на «ты», постоянно поддерживали переписку, обменивались мыслями и планами. Филиппов навещал Леонтьева и в Оптиной Пустыни. Константин Николаевич по этому поводу рассказывал забавный анекдот. Приехал Филиппов и, не застав Леонтьева дома, отправился в гостиницу, приказав лакею: «Скажи барину, что *Третий* приехал». Слуга переврал поручение и доложил Леонтьеву: «Заходил тут один господин и велел сказать, что *черти* приехали». Леонтьев рассмеялся: «Черти приехали? Где же они остановились?»

О Филиппове он рассказывал не один раз. Их сближали и вкусы, и сходство мировоззрений, иногда и совместная деятельность. Филиппов был большой поклонник Греческой Церкви. В то время шла борьба болгар против Константинопольской Патриархии за свою автокефальность, раздутую до антиканоничности. Наша Церковь или, точнее сказать, правительство (в лице обер-прокуроров гр. Дмитрия Андреевича Толстого и Победоносцева) сочувствовало болгарам и молчаливо смотрело на подрыв прав и интересов Константинополя. Леонтьев, будучи очень невысокого мнения о славянах и во всех отношениях предпочитая греков, об руку с Филипповым ратовал за Константинопольскую Патриархию. Его статьи, относящиеся к этому делу, горячи и очень сильны. Вообще, Леонтьев, кажется, всегда являлся единомышленником с Филипповым. Их связывали даже вкусы, как, например, к русской народной песне, и вообще — бытовому художественному творчеству народа. У Третья Ивановича, как известно, было немало даже ученых трудов по народной песне, а что касается [хороводов] плясок, то он, когда был помоложе, хотя уже в чинах, любил лично участвовать в них в деревне и даже славился у девушек как хороводчик. Это мне рассказывал сам Леонтьев о своем друге. Нужно заметить, что Третий Иванович в более молодые годы славился также своим голосом и был превосходный певец. В свои студенческие времена (в Московском университете) он раз, не думая об этом, сорвал сходку. Сходка, очень оживленная, собралась в Новом университете, но в разгар ее вдруг послышались крики: «Господа, Третий поет в саду» (Старого университета), и студенты один за другим стали уходить послушать Третья, так что сходка уничтожилась.

Разумеется, Леонтьев и Филиппов постоянно обменивались мыслями и о серьезных вопросах.

Ко времени нашего знакомства бурная жизнь Константина Николаевича уже совершенно улеглась и вошла в правильное русло. Его мировоззрение вполне определилось. Его религиозные убеждения и личные верования стали уже тверды и устойчивы. Все прежние сомнения и колебания сделались воспоминанием далекого прошлого. И хотя он чувствовал себя усталым, однако еще не собирался умирать, а думал о новой работе, новой борьбе. Во мне он предполагал во многих отношениях соратника и не только интересовался обменом мыслей, но даже очень заботился о том, чтобы мы спелись и в отношении практической работы. Очень характерна была его мысль о нашей совместной работе по выяснению социализма.

Дело это возникло так. Когда он еще жил в Оптиной Пустыни, я написал статью «Социальные миражи современности» (которая потом вышла и отдельным изданием) и в ней доказывал, что коммунистическое общество должно являться очень деспотическим, но фактически не эгалитарным, а расслоенным, при очень сильном и властном верхнем правящем слое. Эта статья возбудила чрезвычайное внимание Леонтьева, но совсем не в том смысле, как можно было бы думать. Он из нее вывел заключение не против коммунизма, а за него, пришел почти в восторг. Когда он приехал в Москву, он с живейшим интересом стал меня расспрашивать о подробных основаниях моего мнения и говорил, что если так, — то коммунизм будет, стало быть, явлением очень полезным. Рассказал мне, между прочим, что уже поделился своими впечатлениями с Третьим Ивановичем и писал ему [излагаю, конечно, приблизительно], что Тихомиров указывает в социализме совершенно необыкновенные стороны; мы боялись социализма, а оказывается, что он восстановит в обществе дисциплину. «Странно некако влагаеши ты мне в ушеса», — отвечал Третий. Рассказывая об этом, Леонтьев шутливо нарисовал сценку из будущего социалистического строя:

«Представьте себе. Сидит в своем кабинете коммунистический действительный Тайный Советник (как он будет тогда называться — это безразлично) и слушает доклад о соблюдении народом постных дней... Ведь религия у них будет непременно восстановлена — без этого нельзя поддержать в народе дисциплину... И вот чиновник докладывает, что на предстоящую Пятницу испрашивается в таком-то округе столько-то тысяч разрешений на получение постных обедов. Генерал недовольно хмурится:



— Опять! Это, наконец, нестерпимо. Ведь надо же озаботиться поддержанием физической силы народа. Разве мы можем дать им питательную постную пищу? Отказать половине!

Докладчик сгибается в дугу.

— Ваше Высокопревосходительство (или как у них там будут титуловать!), это совершенно справедливо, но осмелюсь доложить, Ваше Высокопревосходительство циркулярно разъяснили начальникам округов, как опасно подрывать и ослаблять привычную религиозную дисциплину в народных массах. Начнут покидать обрядность, и где они остановятся? Осмелюсь доложить...

Генерал задумывается.

— Да... конечно... Не знаешь, как и быть с этим народом... Ну — давайте доклад.

И он надписывает: «Разрешается удовлетворить ходатайства».

Он обрисовал эту гипотетическую сценку будущего живо и весело, гораздо интереснее, чем я теперь умею передать. Разумеется, говорилось это шутливо, но в Леонтьеве на эту тему зашевелилась серьезная философская социальная мысль, связанная с теми общими законами развития и упадка человеческих обществ, которые он излагает в «Востоке, России и славянстве». Он об этом серьезно задумался [даже много думал, по словам его], ища место коммунизма в общей схеме развития, и ему начинало казаться, что роль коммунизма окажется исторически не отрицательной, а положительной. Он думал, что вопрос этот важно было бы обстоятельно разработать, но для этого у него не хватало практических знаний по социализму и коммунизму, вследствие чего и явилась мысль — разработать вопрос *совместно со мной*. Вот что он мне писал по этому поводу уже из Сергиевского Посада 20 сентября 1891 года, настойчиво приглашая приехать к нему:

«Кроме разговоров о службе, я имею в виду переговорить с Вами о другом деле, не знаю — важном или не важном, — я на него смотрю так или этак, смотря по личному настроению. Желал бы знать, что Вы скажете о нем. Я имею некий особый взгляд на коммунизм и социализм, который можно формулировать двояко: во 1-х, так — *либерализм есть революция* (смещение, ассимиляция); *социализм есть деспотическая организация* (будущего); и иначе: *осуществление социализма* в жизни будет выражением *потребности приостановить* излишнюю *подвижность* жизни (с 89 года XVIII стол<етия>).

Сравните кое-какие места в моих книгах с теми местами Вашей последней статьи, где Вы говорите о неизбежности неравноправности при новой организации труда, — и Вам станет по-

нятным главный пункт нашего соприкосновения. Я об этом давно думал и не раз принимался писать, но, боясь своего невежества по этой части, всякий раз бросал работу неоконченной.

У меня есть *гипотеза* или, по крайней мере, довольно смелое *подозрение*; у Вас несравненно больше знакомства с подробностями дел. И вот мне приходит на мысль предложить Вам некоторого рода сотрудничество, даже и подписаться обоим и плату разделить. Впрочем, если бы это удалось, то дело так важно, что о плате можно много и не думать (по крайней мере, ныне). Если бы эта работа оказалась, с точки зрения “оппортунизма”, неудобной для печати, то я удовлетворился бы и тем, чтобы мысли наши были ясно изложены в рукописи. Я об этом сотрудничестве с Вами *ad hoc* еще в Оптиной много думал».

Он меня очень звал к себе переговорить серьезно о совместной работе. Однако до серьезных разговоров мы так и не добрались. Через два месяца после своего письма он уже скончался, и хотя мы за это время еще виделись, но при обстановке, неудобной для отдельных разговоров.

Что касается вопроса о *службе*, о котором он упоминает, то дело в том, что я крайне тяготился положением газетного работника, необходимостью снискивать хлеб писанием лишь газетных пустяков. Я рвался поступить на службу, чтобы жить жалованьем, а писать только то, что меня занимало и вдохновляло. Я просил всех друзей помочь мне в этом, говорил Кирееву, Новиковой и т. д., писал и Победоносцеву. Но только один Леонтьев, сам бывший *писателем*, а не *газетчиком*, понимал мои чувства. Он хотел пустить в ход Третия Филиппова. Поступление на службу очень затруднялось тем, что я лишь недавно был освобожден от надзора полиции. Но я мог рассчитывать, что П. Н. Дурново (Директор полиции) не станет мне мешать. Он был умен и понимал, что отдача меня под надзор полиции была совершенной бессмыслицей. К сожалению, это было сделано по Высочайшему Повелению, а потому не могло не учитываться всеми властями, у которых можно было бы хлопотать о принятии меня на службу. Может быть, Леонтьев, очень заботливо ко мне относившийся, и успел бы чего-нибудь добиться, но он слишком скоро умер. Так я и остался припшпиленным к мелкой газетной работе.

Но он уже в этом не виноват. Он во всех отношениях старался расчистить мой жизненный путь, возлагая большие надежды на мою писательскую деятельность. Точно так же он заботился о моей духовно-религиозной выработке, которую находил самым слабым моим пунктом, — и, нужно сказать, — совершенно

справедливо. Я, конечно, был верующим, и христианином, и православным, но все это шло слишком из *головы*, при чрезвычайной слабости *сердечного чувства*. Мы с ним об этом говорили очень откровенно, потому что я и сам понимал религиозное значение эмоции и очень страдал от слабости ее у меня. Леонтьев очень за меня в этом отношении сокрушался и старался помочь мне. Помню ту грусть, с которой он заговорил об этом со мною в первый раз:

«Лев Александрович, дорогой, да почему же — когда у Вас разум так ясно говорит о *вере*, почему сердце холодно? Как же у Вас это так выходит?» Он как-то пригнулся ко мне, голос понизился, принял какие-то нежные интонации. Казалось, он так и хотел бы перелить в меня свою сердечную веру... У него в это время религиозное состояние достигло уже полного расцвета. Он, бывший атеист, приобрел именно горячую *сердечную* веру, которая оставалась непоколебимой даже в такие минуты, когда в разуме появлялись облачка каких-то сомнений. А это у него все-таки бывало.

Раз он говорил со мной о *прозорливости*, о таинственном *влиянии*, проявляющихся у старцев вроде Иеронима Афонского, Амвросия Оптинского, Варнавы и т. п. Потом вдруг запнулся и неожиданно заметил:

— Да это наш христианский *гипнотизм*... Признаюсь, меня смущают явления гипнотизма. *Я стараюсь об этом не думать*...

Почему он смущался? Вера хотела видеть *чудо* в прозорливости и духовном влиянии, видеть действие особых божественных сил. А разум медика и естествоведника задавал лукавый вопрос: какая же объективная разница между гипнотизмом «христианским» и обыкновенным? Леонтьев не умел определить разницы и «старался не думать» о неприятном вопросе.

Впрочем, вера его не подрывалась такими недоумениями. Он давно жил в атмосфере уверенности, что во всем, великом и малом, мистическом и естественном, совершается воля Божия, без которой ничего не может с ним случиться, ни приятного, ни скорбного. Это налагало печать на всю его обыденную жизнь.

Помню, раз я зашел к нему в его отсутствие. Сел подождать. Прибыл он страшно утомленный, сбросил верхнее платье и оказался в подряснике. Не здороваясь со мной, он прежде всего обратился к образам и начал молиться, отвечивая низкие поясные поклоны. Молился довольно долго, минуты три. Потом поздоровался со мной, позвонил и заказал подать чаю, а сам тяжело опустился в кресло.

— Совсем замучился, изморился. Тело плохо служит. Многие раны грешнику.

Принесли чай, он пил с видимым наслаждением. Душистый горячий напиток освежил его, и он, повеселевши, обратился ко мне:

— Вот, Лев Александрович, видите, как нужно понимать дары Божии, милость Божию. Так у нас, в монастырях, понимается попечение Божие. Вы думаете — только в великих делах? Нет, во всем, самом даже малом. Вот я был уставши, теперь с удовольствием напился чаю, и стало мне так легко и хорошо. Это милость Божия, это Бог послал, и я Его благодарю. Он добр, всякое утешение посылает. Как же не любить Его!

А если посылает Бог «многие раны грешнику» — все равно: и в этом Его благодать. Его любовь к нам. Нужно грешника разумить, очистить. Бог делает это по милосердию. Как же не благодарить Его, как не любить такого доброго, попечительного Господа! Эти точки зрения христианской философии перешли уже у Леонтьева в состояние *сердечной* веры, которая соединена с постоянной *любовью* к Богу и дает человеку *счастье*. Леонтьев очень настойчиво проповедовал *страх Божий*, но, собственно, потому, что в этом чувстве проявляется полное убеждение в *реальности* бытия Бога, а потому и сознание, что возбудить Его гнев — очень опасно. Конечный же результат веры — это *любовь*. Леонтьев уже имел ее, и потому ему было жаль меня, для которого, при сухости сердечной веры, недоступно оставалось счастье, ею даваемое. Он и старался мне всячески помочь, и, можно сказать, не оставлял меня в покое настояниями, чтобы я пошел в духовной жизни таким путем, который приводит к сердечной вере. Для этого нужно прежде всего руководство «старца».

У меня сохранилось [одно] письмо его по этому поводу (то же, где он проводит сравнение между о. Иеронимом и о. Амвросием) [так что я могу уже не излагать его мысли, а привести подлинные слова]: «В Вас, — писал он, — я вижу нечто такое, что меня за Вас тревожит. Боюсь быть откровенным, боюсь оскорбить как-нибудь, боюсь лишиться Вашего доброго расположения. Но в надежде на то, что Господь расположит сердце Ваше принять слова мои так же искренно и просто, как я их говорю, — буду откровенен. Вы на прекрасном пути, Вы ищете именно того, что нужно искать, но я замечаю в Вас какую-то нерешительность и вредную медленность. В чем же? Да хоть бы и в том, например, что Вы, вероятно, и могли бы побывать в Оптиной и *видеть* от. Амвросия... но откладывали и теперь жалеете. И еще, Вы чувствуете потребность найти духовника и говорите, что «страшно». Почему же страшно? Во 1-х, наши русские духовники и даже знаменитые старцы скорее *слишком* снисходительны,

чем чересчур строги в своих требованиях. Или потому страшно, что вдруг он, духовник, не понравится, а менять нехорошо? Так ли? Или еще что-нибудь, чего я не придумаю? Многое, многое можно по этому поводу Вам сказать. Но вот что: *сделайте опыт послушания* (т. е. против воли, против расположения). Послушайтесь для опыта меня, окаянного и многогрешного, только один раз, не по убеждению практического разума, а по другому чувству. Во едину из следующих суббот приезжайте ко мне без Ко <компании>, в половину третьего, что ли; ночуйте у меня, у меня теперь квартира просторная, расхода, кроме вагона и извозчиков, не будет\*. Пробудете у меня все воскресенье до последнего вечернего поезда. *Поговорим*. Часов около 12 в воскресенье Вы съездите к отцу Варнавве, а то и я за ним могу коляску послать; он бодр и деятелен: придет. Хотя, по правде сказать, я думаю, что Вам *пока* нужнее *катехизатор* (учитель теории), чем старец (руководитель жизни самой в ее *частностях*). В старцы я, разумеется, не гожусь, и смешно даже мне и думать об этом! Но катехизатором, не лишенным пригодности, сам от. Амвросий удостоивал меня признавать. Для старчества нужна *особая* благодатная сила. Для проповеди и обучения теории достаточно искренней собственной веры и некоторых умственных способностей. Иногда эти свойства соединяются в одном лице, иногда они раздельны». Говоря затем о своем личном духовном воспитании у о. Иеронима, о. Амвросия и о. Климента Зедеогольма, он продолжает:

«Климент все-таки приучил меня к от. Амвросию, да и я сам уже привык постепенно к тому духовному *понуждению*, которого Вы напрасно боитесь и называете *ложью* (точно Л. Н. Толстой)! Не знаю, г<оспода> умные люди, как вас избавить от Ваших чрезмерных от себя требований, а если суховато, то сейчас — “это ложь”! А Спаситель сказал: “*Нудящие* себя восхищают Царство Небесное”. И в *вере* полезно постепенное понуждение. [Я понудил себя обходиться одной *мистической* силой.] ...Ну, прощайте. Помолитесь-ка Богу, чтобы Он по милосердию Своему помог мне приучить Вас хотя бы к от. Варнавве так, как меня Климент приучил к от. Амвросию. А главное, не думайте, что нужны какие-нибудь необычайные молитвы, а очень просто: Господи, помоги мне приобрести то-то и то-то, укажи мне путь Твой».

---

\* Он постоянно заботился о *расходах* моих, потому что я тогда зарабатывал очень мало и весьма нуждался (*Примеч. Л. Тихомирова*).

С сердечной благодарностью вспоминаю я и теперь об этой доброй заботливости Константина Николаевича. Но не воспользовался я ею, не умел отказаться от *своей* воли. Да и его жизнь была уже на исходе, и не имел бы он времени «приучить» меня к от. Варнавве, у которого я не раз бывал, подобно сотням прочих богомольцев, но к руководству которого ни разу не обращался.

Вообще, пока Леонтьев жил в Оптиной и только изредка наезжал в Москву, трудно было что-нибудь совместно делать. А пребывание его в Сергиевском Посаде продолжалось всего три месяца, так что ни одного возникавшего плана не было времени осуществить. Такова была участь и еще одного проекта, о котором мы заговорили чуть ли не в 1890 г. и к которому несколько раз возвращались в беседах, но не успели оформить даже в предположениях своих.

Дело касалось организации особого общества, которое Леонтьев в шутку прозвал «Иезуитским Орденом». «Ну что же, Лев Александрович, — спрашивал он, — когда же мы приступим к учреждению своего Иезуитского Ордена?» Но к этой сложной задаче мы даже и близко не подошли.

Конечно, тут дело касалось вовсе не какого-нибудь Иезуитского Ордена, а мысли наши бродили вот над чем. Борьба за наши идеалы встречает организационное противодействие враждебных партий. Мы все являемся разрозненными. Правительственная поддержка скорее вредна, чем полезна, тем более что власть — как государственная, так и церковная — не дает свободы действия и навязывает свои казенные рамки, которые сами по себе стесняют всякое личное соображение. Необходимо поэтому образовать особое Общество, которое бы поддерживало людей нашего образа мыслей — повсюду, в печати, на службе, в частной деятельности, всюду выдвигая более способных и энергичных. Очень важное и трудное условие составляет то, чтобы Общество было *неведомо* для противников, а следовательно, ему приходится и вообще быть *тайным*, т. е., другими словами, нелегальным. Это главное условие его силы, хотя, конечно, создает для него постоянный риск правительственного преследования. Для ослабления ударов с этой стороны — в случае расследования — Общество должно иметь такой вид, что оно не «общество», а просто случайное единение знакомых между собою единомысленных людей. Следовательно, в Обществе этом не должно быть никаких внешних признаков организации, как, например, устав, печать, списки членов, протоколы заседаний и т. п. Трудности на этом пути предвиделись огромные, но толь-

ко тайное общество давало бы возможность сильного действия. Как все это устроить? Каких людей привлекать? Каков должен быть не писанный, а устный устав? Ничего этого мы ни разу не обсуждали. Только в одном пункте мы, кажется, были с первого слова единомысленны: что Общество нужно и что оно, по необходимости, должно быть секретным, тайным. Поэтому-то Леонтьев и шутил, что мы затеваем «иезуитский орден». Но основание нашего Общества было потруднее, чем учреждение Иезуитского Ордена, все-таки не тайного, а только имеющего тайны, как выражаются о своих ложах франкмасоны. Если бы мы с Константином Николаевичем дошли до серьезного обсуждения этого плана, то нет сомнения, что я бы и предложил поставить Общество на двойном уставе: один *явный*, безобидный, преследующий какие-нибудь банальные цели — научные или благотворительные, для отвода глаз, а другой *тайный*, содержащий *действительные* цели организации. Но, повторяю, этот план остался у нас в зародыше, заглавием ненаписанного романа. Последний месяц жизни Леонтьева нам мешало серьезно поговорить об этом уже одно то, что мы оба в это время особенно горячо углубились в заботу о моих «духовных запросах». Они и для меня, и для него составляли более неотложную «злобу дня». О них Леонтьев упоминает даже в последнем ко мне, коротеньком письме 4 ноября 1891 г., которое заканчивается словами: «Простите, больше ни слова не скажу. Была лихорадка, ослабел, принял 12 гр. хинина. Теперь голова плоха».

Но его 12 гр. хинина не помогли, и через восемь дней, 12 ноября, он уже скончался от инфлюэнцы (воспаление легких), припадком которой, конечно, и была упоминаемая им «лихорадка».

Его схоронили у Черниговской Божией Матери около Гефсиманского скита, поблизости от кельи о. Варнавы. Я не присутствовал ни при его кончине, ни на погребении. Но более 20 лет ни разу не был [в Гефсиманском скиту] у Черниговской Божией Матери без того, чтобы не посетить его могилу. Над ней возвышалась небольшая чугунная часовенка с неугасимой лампадой, кротко мерцавшей, как тихий свет веры, выращенной наконец Константином Николаевичем в своей душе, страдающей и бурной. Теперь, вероятно, угасла в бурях времени эта лампадка, но теплится, конечно, лампада просветленного сердца его там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.

